

ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ МАКСИМОВ
(1904–1987)

13 марта 1987 г. в Ленинграде умер выдающийся ученый, видный исследователь русской литературы первой половины XIX века, крупнейший специалист по Блоку и сам поэт Дмитрий Евгеньевич Максимов. Я познакомилась с Дмитрием Евгеньевичем в 1970 году, когда я стажировалась в Ленинграде. Он руководил моей научной работой по прозе русских символистов, и я всегда с особой благодарностью вспоминаю вдохновляющую творческую атмосферу его курсов. Живая связь с Дмитрием Евгеньевичем, его человеческое обаяние и непринужденная обстановка его семинаров благоприятствовали развитию наших научных и дружеских отношений. С тех пор мои контакты с ним не прерывались, а общий интерес к русской поэзии серебряного века и к её преподаванию укрепили нашу дружбу. В прошлом году, по его желанию, я начала готовить к печати сборник его статей-воспоминаний. Для этой книги Дмитрий Евгеньевич написал автобиографическую заметку *О себе*, которую мы теперь издаем в память незабываемого учителя и друга.

Антонелла Д'Амелия

О СЕБЕ. АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА

Я родился 15 декабря (29 декабря н. с.) 1904 года в окраинном деревянном доме Царского Села (ныне — город Пушкин). Царское представляло собой в то время небольшой город, даже городок, тихий, благоустроенный, с угольными дугами светящихся по вечерам электрических фонарей, с огромными чинными парками, с таинственными дворцами и павильонами, с дуплистыми екатерининскими, а то и елизаветинскими деревьями в вороньих гнездах на верхушке, с полуокружающими город длинными бульварами, на которых желтой осенью, мальчиком, я так часто собирал опавшие, обильно разбросанные дубовые желуди.

Царское вошло в русскую культуру не только именем Пушкина, но и других русских поэтов и литераторов, живших в этом стройном городке — в прошлом столетии и в начале нашего бурного века, поэтами с такими

именами как Анненский, Ахматова, Гумилев, и поодаль от них — Алексей Н. Толстой, Р. Иванов-Разумник, не считая многих других писателей и художников. Так возник давно заложенный в петербургской культуре "миф" о "городе муз".

Это отечество Пушкина и Ахматовой далеко не все целиком было эстетизировано и чопорно. На реальных, лишенных поэтических декораций улицах Царского можно было встретить ровняющую мостовую паровую трамбовку с черной трубой или мороженщика на двуколке с синим холодным ящиком. В массе царскосельских жителей, царскоседов, преобладали мещане и торговцы всех видов, ремесленники, отслужившие свой век дворцовые прислужники, отставные пенсионные генералы, доживающие за стенами удобных одноэтажных и двухэтажных домиков, и, конечно, огромное количество черносуконных городских и величественных серых околоточных, охранявших покой этих генералов и недоступной, пребывающей в недрах Александровского дворца, царской семьи.

Мои родные не были отнюдь природными царскоселами, хотя и связали себя на много лет с этим городом.

Мать моя, Татьяна Андреевна, по происхождению киевлянка, из курсисток, умерла, когда мне не было шести лет, в Рижском санатории. Отец мой, Евгений Дмитриевич Максимов, взявший на себя мое воспитание, скончался уже в эру революции – в 1927 году в Ленинграде. Это был духовно стойкий человек, общественный деятель крупного масштаба, с многообразными интересами и сложной судьбой. В юности, увлеченный народническими идеями, к которым он был близок и в зрелом возрасте, "пошел в народ", долго работал сельским учителем, затем несколько лет проработал в Владикавказе (в настоящее время – г. Орджоникидзе), выделился как исследователь-экономист, вошел в местную и столичную литературу и окончательно со своей семьей переехал в Петербург (его литературный псевдоним: М. Слобожанин; он похоронен на Литераторских мостках Волкова кладбища вблизи от почитаемых им могил революционных демократов). Он служил в государственных и частных учреждениях, ездил в голодные губернии помогать голодающим, продолжая при этом интенсивную литературную работу – писал по вопросам кооперации, земского движения, кустарной промышленности. В последние годы он стал профессором Ленинградского института народного хозяйства, в котором читал историю и теорию производительной кооперации в России и историю русской кустарной промышленности. Высокое моральное влияние отца на нас, его детей, определило многое в нашем будущем.

Кроме меня, у отца было еще двое сыновей – моих старших братьев. Один из них – Борис Евгеньевич Максимов, ставший врачом-психиатром и погибший от болезни, полученной им во время ленинградской блокады.

Другой брат, который по возрасту мог бы быть моим отцом – известный педагог и литературовед. Он был школьным преподавателем, а затем, несколько десятков лет – профессором ленинградского университета. Им написаны десятки книг – исследовательских и популяризаторских – и несколько десятков сотен статей. Он составил себе имя как крупнейший некрасовед и специалист по изучению русской демократической журналистики и литературы. (Его псевдонимы: В. Евгеньев-Максимов и В. Евгеньев). Следует прибавить, что мой старший брат как лектор часто и успешно выступал перед большими аудиториями. Достаточно сказать, что в лазаретах перед ранеными во время второй мировой войны он прочитал едва ли не 1000 лекций. Лекции его были очень колоритны, яркие и эмоциональны. Слушателям казалось, что в лекторский зал входит вместе с ним какой-нибудь седовласый, гривастый сотрудник "Современника" или "Отечественных записок".

Мои старшие братья часть своей жизни, как и я, провели в Царском селе, в нашем доме № 6 по Новой улице, отгороженной от остального города валом разросшихся акаций. В мое детское сознание проникала не только живописная, поэтическая сторона Царского села, но и "прозаическая". Она смутно проглядывала и откладывалась на самых нижних слоях души, но настолько преображенной, что ее можно было принять за особую форму поэзии: сквозь вал акаций и клумбы садовых цветов просвечивал рынок на соседней Сенной площади, который каждое воскресенье приходил в неистовое возбуждение (с тех пор красные лики икон на приютском киоте – он выходил на площадь – стали на всю жизнь связываться мною с представлением о празднике, многолюдстве, воскресенье). По другую сторону нашего дома заунывно пели на огородах "Общества попечительства о трудовой помощи" полольщицы-капорки. На рынке, куда нас водили, перед нами представали разноголосица криков, едкое благоухание укропа, конского навоза и пота. В этом, как и в кошачьих уютках в маленьких магазинах старого гостиного двора, не говоря уж о с детства привычном соборе, который своим гигантским силуэтом высился над этим гостиным двором, над всем рельефом города и который в 30-х годах зачем-то нужно было взорвать, таилась незабываемая поэзия. И она была не хуже поэзии голубоватых парковых снегов и бульваров и зимних санок, катящихся по смеркающим пригоркам парка, и далеких колпинских огней, которые (по какой-то подсказке?) светились через наш забор как вполне достоверные, наведенные на нас и на город желтые волчьи глаза. (Мы в этом были убеждены).

... И вот после всего этого мира возник Петербург, с его серой утробой, цоканьем извозчицких копыт, синими огнями недавно пущенных

трамваев, узкими дворами с шарманщиками и свистящим пятивагонным паровиком на Старом Невском (мы одно время жили именно там).

Стоит ли говорить о Петербурге-Петрограде начала XX века? Он хорошо описан. А говорить о позднейшем нашем городе еще труднее: слова еще не найдены.

Для меня лично два города — маленький город-спутник, тихое зеленое Царское и огромный, тусклый и шумный Петербург — слились в детстве и отрочестве в малую и неискоренимую, взаимно дополняющую часть родины, превратившейся в юности в неизмеримую Россию, с Москвой, Украиной, Волгой, Кавказом и с тем гостеприимным кусочком земли, который приютил нас с женой в бездомный год эвакуации.

Петербургская жизнь началась для меня поступлением в среднюю школу — сперва в I-ый класс частной гимназии и реального училища Я. Я. Гуревича — в начале Лиговки (акад. А. Ф. Кони в случайном разговоре со мной в шутку называл нас "лиговскими гусарами"). Там еще в чинном спокойствии проводились некоторое время уроки Закона Божия, а по утрам перед началом занятий гремели в присутствии директора громкоголосные молитвы "о победе благоверного императора нашего Николая Александровича" (где-то далеко от тылового Петербурга свирепствовала первая мировая война).

Уже к концу этого периода школьные занятия заметно снизились, а в годы революции полупрекратились. Ученикам, сидящим в нетопленных классах, с острыми переживаниями в тощих желудках, натывшимся при выходе из дома на трупы дохлых лошадей (были и такие случаи!) как-то не хотелось утруждать себя алгеброй или историей средних веков и скорее влекло к выборам "старостата", к спорам о политике, к распределению редких и скудных школьных пайков или просто к демонстративному безделию.

Только позже в двух выпускных классах 67-й советской школы (бывшая I-я гимназия), куда я перешел, решив взяться за науку более серьезно (да и гражданская жизнь страны в те годы начинала уже налаживаться), учение приняло более или менее нормальную форму. Впрочем, и тогда и теперь для меня лично "школьное" почти всегда подавлялось 'нешкольным', обособленным от общего, самоудовлетворяющимся.

Именно в то время меня потянуло к литературе, прежде всего к поэзии, особенно к Блоку. Он овладел душами значительной части культурной молодежи того времени. Он был не только прекрасным, чистым, неподкупным, обаятельным поэтом, но воспринимался тогда как явление, стоящее на рубеже старого и нового мира, принимаемое в разных лагерях.

В те годы я начал, подобно многим моим товарищам, писать стихи. Я не решаюсь оценивать их качество, но скажу, что для меня они были делом серьезным, растянувшимся во времени, хотя и с перерывами, на всю мою жизнь. Я их не печатал и не выступал с ними публично, но во всяком случае они повлияли на выработку моих вкусов. Если бы их не было, я, как историк литературы, был бы другим лицом. Стихи оказали на меня влияние и в другом смысле. Они подтолкнули меня к изданию рукописных альманахов в школе и в университете.

В результате сближавшихся для меня, но не сливавшихся "науки" и "поэзии", я окончательно решил продолжить свое образование на филологическом факультете петроградского (вскоре он стал ленинградским) университета. И мне, как десяткам тысяч студентов прошлого и нынешнего века, пришлось бродить или носиться в стенах знаменитого, самого огромного в нашем городе коридора, соединявшего теперешними аудиториями двенадцать коллегий — высших петровских учреждений государственной власти. По коридору в мое время ходила крайне разнородная студенческая масса, собравшаяся со всех концов России. Здесь были и студенты в обывательском пальто, и в солдатских шинелях — только что демобилизованные, собравшиеся со всех фронтов гражданской войны, — и фигуры в меховых полушубках, и в бескозырках, и архаические студенты в дореволюционных синих форменных фуражках. Наш прославленный коридор был местом подготовки к экзаменам, ареной споров, дружеских свиданий и любовных объяснений. В то время еще не был организован внутренний распорядок и нередко случалось, что в коридор забежали кошки, собаки и даже козы служителей. Картина была оживленная, сумбурная, насыщенная нерастроченной молодой силой.

Властителей моих дум в полном смысле среди преподавателей университета не было, но были профессора сильно и во многом повлиявшие на меня. Среди них — Б. М. Эйхенбаум, Б. В. Томашевский, В. В. Виноградов, марксист-"лефовец", несостоявшийся культуролог И. И. Иоффе и другие, имена которых сразу не приходят на память.

Университет работал тогда по сокращенной программе. "Злоба дня", идейная перестройка, переживаемая страной, сильно снизили в нем академический уровень, фундаментальные знания и, конечно, изучение языков, в котором филологическое образование прежнего времени видело едва ли не основное свое назначение. На первый план в студенческой среде выдвигались теперь горячие споры, столь же политические, сколь и методологические, касавшиеся самого понимания историко-литературной науки как таковой. Преподаватели внутренне размежевались на группы, противопоставленные друг другу, но держались внешне более или менее спокойно. Но мы, студенты, резко делились на "фракции" — одни

тяготели к марксизму (с вульгарно-социологическим уклоном), другие к "формализму" (бывшие члены ОПОЯЗа). Были еще академисты "нейтралы", а также "форсоцы", пытавшиеся примирить обе враждующих фракции.

Филологический факультет, более демократический по своей массе студентов, чем Институт истории искусств, ориентировался главным образом на социологизм. Основной цитаделью формализма был Институт истории искусств на Исаакиевской площади (пока его не закрыли). Но многие преподаватели читали лекции и там и здесь. Поэтому оба метода были вхожи в Университет и в Институт, но в Университете социологи-сты все же преобладали, в Институте же господствовала "поэтика". На этой почве и происходили ожесточенные баталии между студентами.

Помню известный диспут в Театре юных зрителей, между двумя фракциями, на котором страсти достигли такого предела, что Ю. Н. Тынянов замахнулся палкой на сторонницу социологизма писательницу Сейфуллину — насилие растащили. В целом "формалисты" и по общей культурной подготовленности, и по знаниям языков, и по связям с авангардистскими тенденциями искусства в спорах обычно побеждали. Можно было пожаловаться, что они в целом (кроме Б. М. Энгельгардта) пренебрежительно относились к философии (серьезных философов и в университете тогда вообще не было). Лишь немногие из нас "в домашнем порядке" действительно интересовались философской литературой. Нас поддерживали иногда лишь касания с немногими оставшимися из людей дореволюционной культуры и ее деятелей, например с членами "Вольной философской ассоциации". И особенно, с остатками символистской традиции. Все эти веяния питали мои юношеские склонности, объединяя их с любовью к блоковской и послеблоковской поэзии.

Мое дипломное сочинение, связанное с моим окончанием университета (1926 год), каким бы скромным по теме оно не было, выросло именно на этой взрыленной и разнородной почве. Оно было названо: *"Северный вестник" и символисты*.

Здесь я должен коснуться и личных перемен в моей жизни.

В 1926 году я вступил в брак с Линой Яковлевной Ляховицкой, моим бесценным другом, разделявшим со мной все трудности, горести и удачи жизни, моим советчиком и помощником, многим облегчавшим и обострившим мое понимание литературы и искусства. Мы прожили с нею совместно 60 лет, и ее кончина (12 апреля 1986 года) является и будет являться для меня незаживаемой раной.

По окончании университета, некоторое время я провел в Нарымском крае в силу ряда обстоятельств; мне пришлось работать вне своей прямой филологической специальности — главным образом в ленин-

градском Издательстве Академии наук СССР. Эта скучная, но небесполезная для жизненного опыта работа отняла от интересующих меня занятий невероятное количество времени (я был представлен к аспирантуру, но не попал в нее – по указанию Министерства – “за недостаточностью общественной работы”). Но все же мне отчасти удавалось, преодолевая господствующую неприязнь к символизму, урывать какие-то часы — преимущественно по ночам — и для своей темы: я подготавливал тогда работу об истории журналистики русского символизма, считая ее наиболее последовательным и целесообразным подступом к изучению всего движения в его глубине (от периферии – к центру). Таким образом, я проработал журнал Мережковских “Новый путь” и основной орган русского символизма – журнал “Весы”.

Обе статьи-исследования “Северный вестник” и символисты и “Новый путь” составили особый раздел в книге *Из прошлого русской журналистики* (Л. 1930), подготовленной совместно с моим братом Е. Евгеньевым-Максимовым, на долю которого пришлась совсем другая, независимая от моей, тематика этой монографии. Таким образом это была первая моя книга, хотя и организованная в соавторстве.

С 1938 года я стал преподавать в педагогических институтах и, особенно, в Ленинградском университете.

В университете и других вузах я читал курсы “Русская литература XIX века. Первая половина века”, “Русская литература XX века (до Октябрьской революции)”, “Спецкурс по Блоку”, “Введение в литературоведение”. Под моим руководством было защищено много диссертаций, подготовлен ряд аспирантов и зарубежных стажеров.

Я не считаю себя подымающимся над уровнем лектором-педагогом, мне не всегда удавалось своими лекционными выступлениями “зажигать аудиторию”. Но существенным делом в университете и, как будто удачным, был руководимый мною многолетний семинар по Блоку. Я вел его не менее 20 лет, хотя со стороны начальства он подвергался нареканиям. Администрации факультета казалось, что в семинаре допущено перепроизводство Блока и имен окружающих его поэтов (почти сразу после моего ухода из университета это положение изменилось: Блок был канонизирован и признан в нашей литературе). Но студенты семинара любили Блока и дорожили им, хотя тема о Блоке была непривычной и, думаю, ведущей вперед к свободе литературных вкусов и пристрастий. При этом, рассказывая о Блоке и обсуждая семинарские доклады, я всегда старался выйти за академические рамки темы и окружить ее светящейся блоковской атмосферой, открытой духовности и современным исканиям. (Вероятно, не со всеми, но с некоторыми участниками семинара этот союз с Блоком нам удавался). В моем семинаре

одновременно работало 10-15 студентов, а многие, против правил, оставались и на последующие курсы и даже посещали наши занятия после окончания университета. Не раз, пересидев положенные часы, мы возвращались с семинара черной ленинградской ночью или поздним вечером, проходя мимо "ректорского дома", в котором родился Блок, додумывая обсуждавшиеся на семинаре темы.

Дорогие друзья, бывшие друзьями тогда или теперь, разбросанные по свету и живущие вблизи, оставшиеся прежними и изменившие свои лица, вспомните о наших дружественных вечерах, нас волновавших и соединявших. В них была молодость и поэзия и поднимающееся над нами имя!

... За свою жизнь мне пришлось написать и опубликовать немного печатных работ: шесть книг (не считая переизданий) и несколько десятков статей и публикаций. Выборочный список этих работ указан в краткой библиографии, приложенной к моей последней книге *Русские поэты начала века* (Л. 1986). Некоторые дополнения к этому списку можно найти в составе сборника, вышедшего в издательстве Тартуского университета в 1975 году — Тезисы I Всесоюзной (III) конференции "Творчество А. Блока и русской культуры XX века".

Что сказать о себе как о литературоведе-педагоге, о начальных стадиях своего литературоведческого формирования и о дальнейшем периоде, когда оно стало приобретать некоторую направленность? Характеризовать и оценивать себя, даже свое прошлое — предприятие трудное, да и не тянет копаться ни в пройденном пути, ни в настоящем. Пусть пройденное само характеризует себя. И эта характеристика была бы тем более оправдана, если она коснется не одного меня, но в какой-то мере, и моих сверстников, в различных видах и качествах, тех, кто был рядом со мною, впереди и, может быть, позади.

Не лучше ли вместо этой характеристики пометать (не боясь триумфов) о том, что хотелось бы увидеть в нашей "науке" или в том, что под нею подразумевается, в главной ее сути. Вероятно, какие-то частицы этих пожеланий имеют отношение и ко мне лично, к моим писаниям, к тому, что эмбрионально в них заключено.

Хотелось бы, чтобы наша "наука" (беру это понятие в кавычки), сознавая свое индивидуальное лицо в необозримом потоке общечеловеческих знаний, вместе с тем не при каких условиях, не отделялась бы от него, от жизни вообще в особую изолированную отрасль.

Хотелось бы, чтобы она несла в себе высокие гуманитарные ценности духа: истину, совесть, красоту, добро — в понимании объектов, в их видении. Хотелось бы, иными словами, чтобы она была человечески

направлена, содержала бы в себе действенное начало, активную волю к благу, хотя бы потенциально.

Хотелось бы, чтобы в основе исследования лежало историческое понимание вещей — и не только "микроисторизм", связь с малым, текущим временем, исторической "зlobой дня", но и "макроисторизм", дух веков, тысячелетий, эр, наций в целом, вплоть до праисторизма мифологической эпохи. Влияние "микро-" и "макро-" историзма не соотносено, преобладающие проявления того или другого, очевидно, могут колебаться, но ясно, что важны оба.

Хотелось бы, чтобы наша наука, мысля действительность как художественный текст, не разделяла бы в нем по существу (в анализе) содержание и формы, которые сами по себе в самой литературе единичны — более, чем синтетичны.

Хотелось, чтобы мы, опираясь на принцип рационалистического и эмпирического познания, не нуждались подсознательной стихии, объясняющей и порождающей многие стороны "дневного сознания".

Безграничность жизни, а значит и безграничность познания открывают разные его аспекты, из которых духовные — философские, эстетические — шире "научных", которые сами по себе не вовсе противостоят духовным. В ряду литературных и вообще эстетических направлений близкого к нам времени символизм — одно из наиболее духовных. Он ценен, несмотря на то, что в иные времена снижался до моды, а иногда и до нигилистического эстетизма. В нашу эпоху, когда бездуховность грозит завладеть человечеством, затопить весь его кругозор, опыт символизма для нас особенно важен.

Вот и все мои попутные замечания. В ранний период жизни, когда я только начинал заниматься литературоведением, я не доходил до этих мыслей в прямой их форме, но теперь понимаю, что они исподволь плоско и пунктирно намечались во мне и тогда.

В заключение считаю нужным к указанному добавить. Помимо книг, статей, очерков, я с небольшими перерывами, всю жизнь писал стихи. Их сборник под названием *Стихи* вышел в Швейцарии под псевдонимом Игнатий Карамов (Лозанна, изд-во "L'Age d'homme" 1982). Однако издание это, опубликованное без моего присмотра, изобилует грубыми ошибками и искажениями. Достаточно сказать, что одно из стихотворений, вошедших в книгу, *Тень друга*, полностью лишено последней строфы. На стр. 20 и 52 пропущены отдельные строки, а на стр. 23 две строфы стихотворения *Обида* заменены местами и т. д. и т. д.

